

18+

Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л



РОМАН №9 2023 ГАЗЕТА

Василий Киляков / Последние





КИЛЯКОВ Василий Васильевич

Родился в 1960 году в Кирове. После окончания Московского политехникума работал дежурным электриком, мастером на заводе в Электростали, служил в армии.

Окончил Литературный институт им. А. М. Горького в 1996 году (мастерская М. П. Лобанова).

Публиковался в журналах: «Литературная учёба», «Наш современник», «Молодая гвардия», «Новый мир», «Полдень», «День и ночь», «Гостинный двор», «Огни Кузбасса», «Октябрь», «Подъём», «Юность», «Волга-21», «Немига литературная» (Беларусь), «Простор» (Казахстан) и др.

Лауреат Всероссийских литературных премий «Традиция» (1996), им. Б. Н. Полевого (1996), премии «Умное сердце» (2010), премии «Дойче Велле» (Берлин, 1992) и др. Лауреат Открытого конкурса изданий «Просвещение через книгу» Издательского Совета Русской Православной Церкви (2019), лауреат премии «Лучшая книга на русском языке в Германии» (2019). Лауреат Международной премии «Югра» (2020), Всесоюзной премии имени Н. С. Лескова (2021).

Член Союза писателей России. Живет в городе Электросталь Московской области.



Ее не сломали ни жизнь, ни война

**К столетию
Тамары Николаевны
ЛИСИЦИАН
(03.03.1923–29.11.2009)**

Я познакомилась с Тамарой Николаевной Лисициан, когда мне только исполнилось 17 лет. Я заканчивала школу и, как многие другие девочки, мечтала стать актрисой. Меня к ней привела моя учительница, которая в свое время была первой учительницей сына Тамары Николаевны — Сандро.

Спустя 10 лет мы случайно пересеклись с Тамарой Николаевной в коридоре «Мосфильма». Она узнала меня, обрадовалась и пригласила к себе в группу (в то время она приступила к съемкам фильма «Тайна виллы «Грета»»). Мы проговорили два часа и с тех пор стали общаться постоянно. Тамара Николаевна пригласила меня сняться в небольшой роли в этой картине. «Тайна виллы «Грета»» стала ее вторым политическим фильмом, который был посвящен расследованию деятельности масонской ложи «Пи-2».

Я часто бывала у нее в гостях, мы беседовали подолгу и обсуждали самые разные темы: и моду, и работу, и политику, и даже кулинарию.



Когда я вновь, после длительного перерыва пришла к ней, то увидела на стене в большой комнате ее портрет военных времен, которого раньше не было. Тамара Николаевна рассказала мне невероятную историю этого портрета, написанного в январе 1944 года в морозной Москве художником Михаилом Ещенко. Он тогда решил написать галерею портретов молодых военных, чтобы

оставить их лица потомкам. Его привлекла необычная девушка, с очень усталым и грустным лицом, одетая и по-военному, и нет. Ещенко уговорил ее попозировать, чтобы набросать портрет, и потом Тамара Николаевна увидела свой портрет на выставке в Центральном Доме работников искусств спустя 34 года, в 1978 году. С тех пор портрет юной партизанки был в ее квартире, а сегодня, после ее кончины, он висит в музее Победы на Поклонной горе.

Еще Тамара Николаевна много рассказывала мне об Италии, о своей жизни в семье первого мужа Луки Лонга, о своем знакомстве со знаменитыми итальянскими режиссерами: Федерико Феллини и Паоло Пазолини, с замечательным итальянским писателем-сказочником Джанни Родари. Кстати, именно это знакомство дало ей возможность снять два своих лучших детских фильма: «Чиполлино» и «Волшебный голос Джельсомино». Джанни Родари дал лично ей разрешение на экранизацию своих сказок, и она сумела добиться их постановок. Ведь после дипломной работы «Сомбреро» по пьесе Сергея Михалкова она 10 лет на «Мосфильме» работала только на

Окончание см. на 3 стр. обложки.



Н А Р О Д Н Ы Й Ж У Р Н А Л

РОМАН-ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ ООО «РОМАН-ГАЗЕТА»

ЖУРНАЛ ЗАРЕГИСТРИРОВАН В КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ПЕЧАТИ. СВИДЕТЕЛЬСТВО О РЕГИСТРАЦИИ №013639 от 31 МАЯ 1995 г.

Учредитель и издатель
ООО «Роман-газета»

Главный редактор
Юрий Козлов

Редакционная
коллегия:
Дмитрий Белюкин
Алексей Варламов
Анатолий Заболоцкий
Владимир Личутин
Юрий Поляков

Ответственный
редактор
Елена Русакова

Права
на использование
товарного знака
«Роман-газета»
принадлежат
ООО «Роман-газета»
© ООО «Роман-газета», 2023
Все права защищены

Журнал зарегистрирован
в Министерстве связи
и массовых коммуникаций РФ.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ФС77-68350
от 30.12.2016 г.

Подписаться
на журнал «Роман-газета»
можно в отделениях связи
и через Интернет:
roman-gazeta-1927@yandex.ru

**Подписные
индексы издания:**

в объединенном
каталоге

«Пресса России»

38915 на полугодие;

в электронном каталоге

«Почта России»

П1526 на полугодие

Точка зрения автора может
не совпадать с позицией
редакции

2023 №9 /1926/ Основана в 1927 г.

Василий Киляков

Последние

Родное пепелище

Повесть

У птицы есть гнездо,
У зверя есть нора...
Как бьется сердце
Горестно и громко...

И. А. Бунин

В доме Волчихиных радость: со службы вернулся сын Антон, отслужил срочную. По нынешним временам дело нелегкое. Да как отслужил! Ни в дисбат не попал, ни на войне не ухлопали. Должности от каптера до писаря менял в Челябинске, а уволил-ся из Москвы замкомвзвода. На последнем году выслал деньжат родителям, не клянчил, как другие. Этим особенно гордился отец, Серафим Волчихин:

— И никто из этих, с академическими значками, инспекторов-дознавателей, никто ни разу не поймал его за руку.

Из Москвы на скором поезде до Сасово ехал Антон в двухместном «офицерском» купе, потом электричкой до Кустаревки. Места потянулись глухие, медвежий угол, родина. Люди голодные, злые. Промокшие мужики косятся на молодуху в юбке из короткой замши и в лосинах. Ехал, следил в окно за ворохами ржавой небранной соломы на полях, диву давался: косые хибары повалились, жизнь серая... Озимые реденькие, недород будет. А то все перегон за перегон — целина, земля гуляет, так не было...

Старшины погоны — толстой ленты золоченой галун вдоль, аксельбанты десантника не без гордости прятал он небрежно под кожаной курткой, будто от патрулей. И когда электричка на родимой станции со свистом раздвинула двери, открылась насыпь внизу без платформы, удивился. Сзади торопили: «Прыгай, служивый!» Ки-нул вниз вещмешок, прыгнул с дипломатом вниз. Крутизна насыпи, крупный гра-вий рыжий. Бежал под откос, догоняя мешок.

— Эва, — дивились над ним местные, — в Ольховку пешочком, парень? Это тебе бы проще дальше ехать, через Таировку. А тут утоп — нешь — ишь, залило ныне...

К электричке ходили теперь со стульями, иначе не влезешь... Непривычная эта дикость, оторванность почему-то были стыдны теперь, как пощечина. «Дачки, дачки кругом, — озирался Антон, — дачки строят вместо домов-кормильцев. Вот она, жизнь-то: хозяев не стало, одни гости...» Крякнул, подхватил солдатский мешок с ляжкой-соплёй, и по шпалам, по гребню. Кругом грязь весенняя, непролазная, в лужах синь небесная распушена пополам с солнцем. Жизнь, забытая среди болот, нереальная, как бы в ином измерении... Во снах и воспоминаниях брал Антон от этой действительности по частям, вперед, авансом проживал счастье возвращения, и вот темная какая-то запущенность — все не так теперь переживалось.

Покурил, двинул бродягой по старым местам. А прошлое цепляло, держало. Клуб совхозный каменный, как литой, как крепость, широкий, в два этажа. Их в «застойные» вместо церквей строили, на века. А вот и больничка при школе — все цело, только кинута. Штукатурка отвалилась, зияла содранной кожей, а под ней — плоть «мясная», красного кирпича... Здравствуй и ты, река бурлящая, мутная водица, — дважды не войдешь не потому, что изменишься, а такая холодная. Мост снесло, по перила закипает вода, похоронила в себе переправу: думай, прохожий, как на перепутье. А там, за рекой, дремуче-чёрен лес вдали, вон и крыша красная — отчий дом под тополями. Глядеть — через капли пота, через слезы: дичь какая! И родное, и не родное... Колеса трактора, динамо, резина старая, борона и косилка — все утонуло в сухом бурьяне. Солнце смелело, дикая кошка на резине трактора грелась на солнцепеке. На сухое выбрался, поменял сапоги. Портянки стоптанные в сторону, сапоги в мешок. Птичья возня в балке, щёлк. Ну, теперь рукой подать...

Ольховские только ахнули, когда Антон явился в родное гнездо. «Легко ли, легко ли, — говорили ольховские, — легко ли в самую росторонь, в самую что ни на есть страсть и распутицу отмахать с большака семнадцать верст?!»

Дивились ольховские и тогда, когда шел солдат улицей, растворяли окна, выходили на крыльцо, здоровались издали. Новая обмундировка Антона блестела пуговицами, на голове берет десантника сиял кокардой. Богатый кожан так широк, что за плечами не видно зеленого солдатского вещмешка; в руке он нес черный ящик, по-городскому — «дипломат».

Когда Антона спрашивали, как добрался, он лихо прикладывал руку под козырек, к синему берету, отчеканивал шутливой армейской скороговоркой:

— Напрямки, по-десантному!

Бабка Груня Тырина, по-уличному — Колдунья, тяжело шмыгая валенками в калошах, вышла на ули-

цу при клюке. Поправляя седые волосы, косо сбившуюся в сторону шаль, она вдруг подняла руки, вскрикнула:

— Внучек, родимый! Дай-ка я тебя расцелую!

— Здорова, бабка Груня?! — радостно удивился Антон. — Поклон тебе от десантников!

— Ой, родимец, дясантник, дясантник... Аки с небес выпал, аки андел явился... — блажила бабка с дрожью и удушьем. — А третьего дня к нам трактор не прошел, на полпути засел...

Антон поставил на землю чешский дипломат, как перед командиром одернул полы, обнял Колдунью.

— Ну, весь, весь вылитый дед Назар, — проследилась бабка. — Такой же был в молодости статной, ядреный, горделивый... Дак, а зеленый мешочек-то ай в дороге потерял? Ай сперли?

Антон засмеялся, попенял бабке:

— Ну, бабуля, вы тут и живете?! Как здоровьице?

— И-и, внучек! Каюк нам пришел, конец, — тяжело дышала бабка, грудью опираясь на клюку, смаргивая слезы. — Без хлеба сидим, а бывает, и без света...

И тут бабка ни с того ни с сего стала корить дочь:

— Уехала с зятьком, у них я не в почете, а гляди-ка, у кого мать не в почете — век в добре не живет, ей-бо, не живет...

— Верно, верно, бабка, — поддакивал Антон, плохо понимая, о чем толкует она. Весь ее вид: засаленная телогрейка, тяжелое дыхание, исплаканные старческие глаза — все пробуждало грустные чувства. Сердце рвалось домой, но бабка дрожащей рукой держала внука за локоть.

— ...Одна-одинешёнъка, яко перст. Ни тебе поест, ни попить чайку, уся заклёкла, сердчишко почернело... Глянь-ка на наши Палестины, что деется, что деется-то, Господи! Люди аки птицы перелетные: дома, скарб — усе бросили, дотлеваем.

Под предлогом кваску испить затащила бабка внука в дом, говорила — уши резала:

— Гляди, тырло какое осталось, — показывала она свой покосившийся дом, — не чаяла перезимовать. Думала, замерзну на лавке под святыми, ан нет — весны дождалась, тебя встренула... Лихой народ тут по избам шшелкает, ломают двери в забытых домах, иконы воруют. И зачем оне им: не молятся, а иконы любят?

— Продают иконы...

— Как?

— На деньги меняют.

— И-и, грех-то... Да вот и мы тут без тебя, когда одни, боялись.

Антон, ослабев от холодного кваса «с гнидами», то бишь на ржаной муке, — растянулся на кровати в сенцах у бабки, скинув обувь.

— Тут у нас какая беда приключилась, не приведи бог. Убери-ка ноги, соколик, я тебе расскажу...

Уселась на краешке лежака, с устрашающим видом начала рассказывать, как в соседней деревне, тоже глухой, с заколоченными домами, брошенными подворьями, пришли мужики к одной старушке. Жила старушка на краю деревни.

— Пришли ночью, пьяные оба, пьяней вина, да, видать, мало. Ты слушай, мотай на ус, да не забывай закрывать двери. Ну, пришли, стучат: открывай, свои... Дарья, я ее знаю, Дарья не открывает. Они шибче грохают: открой, мать-перемать, не откроешь — дверь высадим. Открыла. Мужики молодые, незнакомые, незнамые, одеты по-городскому, странные... Она мне сама-то после рассказывала. «Давай, бабка, самогон!» А она им: «Нету, не гоню, боюсь власть...» Они опять: «Какая такая власть, ее нету, ныне прула...»

— Плюрализм?

— Ну да, так-то, верно, сказали. Влезли, деньги вынули с-под икон, поминальные, господи. Водки давай, хоть роди, а давай. А Дарья для дров купила в сельмаге очищенную, по спискам продавали нам вон еще когда...

— Какую очищенную?

— Ну, водку настоящую. Он опять всё «какую». Что ты, соколик, как отслужил, какой-то непонятливый стал, ай вас там, в армии-то, заучивают до беспамяти? Отдала Дарья, закуски нарезала. А они что исделали, озорники-то: открыли подполье, старуху туда кинули, свалили грубку, печку-то на лаз. Уж на другой день ее вытащили, обмороженную. В больнице и померла. Вот какая банда шляется, вот чево вычужают...

— Что ж никто не защитил, не слыхали, как в дверь ломались?

— Что ты, малый, в Прохоровке-то? Да ай ты не знаешь Прохоровку? Там давным-давно все поразьехались, зимуют три старушки: Клебяшка, Красота да Ягодка. Да вот Дарья... Ну, теперь Бог прибрал, поминать ходили. Ты ее не знал, Дарью-то? Она моя подружка была, сиротой ее тетка ростила. Трясыцы им, душегубам...

Бабка погрозила окнам кулаком, Антон засмеялся невольно, прихлопнул смех.

— Вот, ему смешно... Я к чему тебе говорю-то: закрывай двери крепче.

— Чего же они взяли у Дарьи?

— А иконы, соколик. Весь киот ободрали. У нее ведь изба молельная была. В войну молились, ходили к ней. И молодые, вот как ты, такие же. А иконы такие, старинные, мамкины еще, с клиньями и старые-престарые. А одна, «Скоропослушница», мироточила в войну. Вот как озоруют ноне. Ну, говорят, ищут их, похоже, найдут. Убралась Дарья, Царствие ей Небесное, убралась на тот свет...

— Свет один, бабуся.

— Ну-ну, один... А ты знаешь, грамотей? Ну, ступай, ступай с Богом, вот мать-то с отцом обрадуются, какой ты есть...

Солнце горело ярко, грело в открытую дверь, в сенцы; травка, редкая и веселая, пробивалась к свету. Ослепительно блестели в разбитых колесах лужи; мир большой за дверями: свежий ветер играет верхушками тополей, ворошит прошлогоднюю лебеду. В высоком небе быстро плывут редкие белые облака. И светло, радостно.

— ...Аки в прошлую войну: соль, спички берегём пуше глаза. На Хрещение свет погас — монтера не докличешься. А постом моя Катюха приезжала с зятьком. Кинулись было в передний угол иконы снимать. Я — горой, караулом отстояла, аки солдат боевой...

— Как это «караулом»? — не понял Антон, засмеялся.

— Карау-ул! — орала. Отстояла-таки. Зять — какой он зять, и с работы выгнали, знать, стоит того. Я два дня лежала от его кулака, отлежала, очумаркалась. Ну, иди, меня не переслушаешь. Мать-то обрадуется. Иди, спаси тебя Христос...

— Приходи в гости, — бросил на прощание.

А бабка все стояла, широко расставив ноги и опираясь на клюку.

Через яму перемахнул, где была пекарня — рухлядь. Растоптали шифер, возили жечь, кирпичи, тяжело тащили: следы глубокие, и дальше — телега сухо пошла, легко. По твердому пропадали следы, словно кверху поднимались, взлетели.

Красная крыша отчего дома шелушилась. Зава-linkу, забранную досками, дожди сгноили, размыли. Из глины торчит фундамент, белый сланец, — не миновать поправлять к осени. Починять надо, что-то думать...

Дом высок, обманчиво хорош под тополем-гигантом. Тополя освежали, подчеркивали мирное житье, домашнее. А что огромен-то! Сучья — внаклон, громадные, развесились: крест осеняющий.

За обшитой стеной сруба услышал отец поступь и треск. Антон не распутывал проволоку на загорожке — перемахнул через прясло. Два года назад, помнил он, доила тут Любаша корову. Бегали в подойнике, догоняли одна другую струи молока, били в ведро, взбивали пену. Вскипало молоко, играло, а он смотрел на Любашу, в разрез ее сарафана, на дразнящие глубокие подмышки, замирало сердце...

Вот оно, утро, долгожданное утро дембеля!

...Танцуют струйки, взбивают пену. Памятное вспыхивает и сгорает. Любаша теперь в Рязани. Дом ее напротив даже и не забит — в три окна, крестнакрест, словно теперешнее житье и не стоит того... Дом-«бессрочник» глядит на остатки деревни, на лес через бурьян, — а и всего-то осталось. Болит сердце, отыскивают глаза Любашу, а чего отыскивать — поздно, пусто...

Солнце дрожит, растворяется в слезу, в каплю пота. За стволами яблонь — оттуда приходит солнце,

оттуда шел дождь и ветер. И не надо всматриваться в дали, горизонт полей ясен, как солдатские сны, дразнит и отвергает. Много зеленого, золотого и синего, а по сути одно...

Не думать, разучиться думать, рассыпать мысли, получать счастье!.. А где-то Москва, Челябинск... Сумасшедшие дискотеки... А тут вся жизнь — у кривого осинового кола. Куры клюют-стучат в алюминиевые пустые чашки. Смотрят пустыми глазами окнами брошенные избы... Жижа, грязь и навоз. Белые ноздреватые камни. Да полно, и впрямь ли где-то объедаются, вскрывают «мировые тайны», вечные вопросы решают?

Мокрые, блестят на солнце мшистые углы, личники облупились, частокол палисадника покоился... Сердце солдата радостно забилося, он вбежал на крыльцо, не затворяя сеней, открыл дверь в кухню. Ботинки покрыты глиной, на берете бисер росы. Мать кинулась на грудь, пришел со двора отец, радостно обнял сына.

От высоких ботинок Антона стояла на полу грязная лужа. Солдат разулся, разделся. Серафим глянул на ноги сына и ахнул: ступни Антона кровоточили мозолями. Отец достал с полки йод, осторожно смазал сыну раны:

— Держись, генерал, лечить буду. Мать, дай-ка ему что-нибудь на ноги, мои штаны достань, евонные тесны ему будут. — И уже весело шутя с сыном, встал, хлопая по плечу, говорил: — Ну, брат, подросты! И в плечах, глянь-ка, раздался — и вправду генерал!

Нюра, слушая болтовню мужа, полезла в кованный старинный сундук, достала брюки, свежее белье. Роясь то в шкафу, то в сундуке, она думала о хлебе. Осмелев, спросила сына, смущаясь и краснея лицом:

— Антоша, ты хлебца не догадался купить?

— Какого хлебца? — не понял Антон.

— Да это я так, ладно... К задумкам моим пришлось... — И, отвернувшись, досказала: — Хлеба нету. Ни проехать, ни пройти. Не Ольховка, а яма гнилая. Как ты дошел-то?

Антону вновь пришлось рассказывать, как он «шел напрямки», то мелколесьями, то краями оврагов... Отец, расставляя стулья, тоже ворчал:

— Дела-делишки... На сухарях сидим, да и оне кончаются, труха осталась, крошки... Теперь и лештошные жамки-кренделя доедим. Бывает в жизни огорченье: хлеба нету — ешь печенье...

Между тем мать собирала на стол. Принесла из погребка моченные по-старинному антоновские яблоки, к холодцу натерла хрен, налила щей и поставила баранину на деревянном кругу.

Антон, усаживаясь в передний угол на широкую лавку, жадно смотрел на домашнюю снедь, а мать все еще носила, ставила беспорядочно: мед, свойскую

сметану — ставить все сразу было обычаем в Ольховке, так встречали дорогих гостей с незапамятных времен.

— Перед тем как встать, утром, сон я видела... — говорила мать. — Будто бы выдернутый зуб у меня прирос. Кровища рекой лилась. Ну, думаю себе, к родной крови. Не верила, что сны сбываются, а вот сбылось, явился наш Антоша.

Отец и сын уселись за стол. Мать все еще гремела ухватами, жарко топилась печь. Ели без хлеба густые наваристые щи из баранины-солонины с квашеной капустой.

— Кушай, сынок, к вечеру оладки спеку...

— Картошку, ездили, меняли на муку, — пояснил отец.

— Да хлеб-то что, — отзывалась мать из закута, — хлеб-то что, — говорила, легко, как девочка, влезая по приступкам на печь за сухарями. — А вчерась к свекровке, Тыриной старухе, за солью бегала. Взаймы взяла полную солонку. Ей пуда два тракторист привез за две бутылки самогона... Натек-ка, вот вам сухари, погрызите. А что поделаешь? На безрыбье и рак рыба.

И с этими словами Нюра спрыгнула с высокой нижней приступки, подошла к столу с торбочкой сухарей, пересушенных и мятых. На дне те и вовсе перемялись в крошки. Антон хлебал щи, слушал, что говорили мать и отец, ушам своим не верил. Он знал, что до призыва в армию запасались хлебом, ели черствый, а когда хлеб начинал портиться и покрываться зеленой плесенью, не клали его на печь, скармливали курам и свиньям. И как-то за дешевизной хлеба не замечали его ценности. А теперь вот без хлеба попробуй съешь баранину...

Щи вкусно пахли укропом, разварившейся в вольной печке капустой, а есть не хотелось. И только из уважения к матери Антон хлебал, деревянной ложкой таскал куски мяса со дна чашки.

Печеный хлеб... Было волшебное слово «хлеб» — тот запах, теперь уже забытый, приступами подходил к горлу, этот аромат и вкус... Томный, густой, пряный дух каравая, широкого, как шляпка белого гриба-колосолика на Успение, — тот хлеб, за которым ездил он босяком в детстве на запятках хлебовоза до совхозной пекарни, чтобы только отломить корку, почувствовать на зубах еще раз хруст подгорелой и жевать до спазмов в скулах и горле горячий тягучий мякиш...

— А что же в лавке-то, не торгуют хлебом? — спросил Антон, опять вспомнив молодую сероглазую продавщицу Тамару.

— Лавку прошлой осенью закрыли, — говорила мать, горстями насыпая в чашку мятые сухари. — Томка замуж вышла, из Выселок тракторист взял. Да и чем ей торговать? Ни осенью, ни зимой, а пуше всего весной ни проехать, ни пройти. Теперь, когда

проехать можно, возят хлеб, почту с оказией... О нас забыли. Да тут и живут одни старики, старухи да Петья Дрова-Нога. Мы вот, дураки, самые молодые тут. Сама виновата, маху дала, одна не уехала, сестра звала в город. Теперь и вовсе страшно жить. Всё тут растаскивают, гноятся дома пустые. Ходят незнамые-незнакомые людишки, меняют иконы на консервы рыбные, на колбасу копченую, импортную... Я за мамкину икону выменяла две каталки сервелату. Самогоном тоже интересуются...

— И Бога за колбасу-то не жалко, — засмеялся отец, как всегда подначивая — и трезвый, и во хмелю. — Иконостас родителей, глянь-ка, разорили... Вот тебе и Бог, ха-ха-ха...

— Сиди уж, богомолец! — осерчала мать. — Сам же враз стесал, умял целую каталку. Я стояла-стояла, все глядела, оставит, думаю — ан нет, всю сожрал. А теперь гляди-ка, мелет что попало, про Бога вспомнил.

— Да это я так, шутю... Чего ты уж разошлась...

— Ну и сиди, говорю, сухари грызи! — вовсе озлилась Нюра, а Серафим и ухом не повел; сидел он грузно, тяжело навалившись на край беспорядочно уставленного стола.

Солдат, сколько помнил родителей, не обращал внимания на ссоры, ел и все улыбался, поглядывая на них. И ничто не изменилось. Вот только мать стала злее прежнего, еще похудела, позеленела лицом. Отец — наоборот, поправился, отрастил брюхо и заметно постарел. За собой не следил, дня три не брился, даже рубаху не сменил. Сидел он с запухшими влажными глазами, почти не ел.

— Налей-ка нам поманеньку, — умолял он Нюру, все ходившую туда-сюда; она почти бегом носилась из кухни в горницу. — Налей-ка поманеньку...

— Сичас! — ругалась Нюра. — Жди!

Мать отстряпалась, села к столу бочком, стала хлебать щи торопливо, как едят все нервные женщины в деревне, задерганные домашними заботами. Антон отложил ложку в сторону, жалостливо рассматривал мать, ее худые плечи, редкие волосы.

— Ешь, ешь вдосталь, — говорила мать Антону. — Яблоки пожуй... Мочили по-старинному, я у матери-покойницы научилась.

— Я наелся, спасибо, мама. Тут на целый взвод всего наставлено.

Отец тоже не ел, понимая, что Нюра не нальет, что просить бесполезно.

— У-у, ку-уда! Злая! Вот и хозяйка! — торопился, дожевывая, дыща гнилым перегаром, ворвань. — Сторела наша жизнь, Нюраха, впустую, только вонь пошла...

Вылез из-за стола, пристроившись возле печи на табурете, начал зашивать голенище ялового сапога. Самодельная дратва, сученная из суровых ниток, просмоленная варом и отшлифованная мылом,

скрипела в тесной плоти голенищ. В уголке рта у него дымилась папираса; он ловко переключивал ее языком и дымил беспрестанно.

— Перед Новым годом, — говорил Серафим, зашивая в сапоге прореху, — запуржило так, что света белого не было видно. В сумерках пришел домой от скотины совхозной, глядь — огонек напротив, у бабки Феклы. Ну, думаю себе, явилась пропажа. Утром приносила топор поточить, хлеба краюху принесла, где-то расстаралась... Я не взял, у нас свой был. Да. Ну, я обещался, пошел. Подхожу — что за диво: огонька нет, слышу — стучит. Зашел со двора — шуруют: один светит, в руках свечка, другой что-то шарит в снях. Один малой, другой длинный и широкий в костях. Длинный на меня зашипел как змей: «Вякнешь — язык отрежу... Мы, — грит, — тут хоть и проходом, а найдем тебя...» Вытащил ножик, таким у нас свиной режут. А малой: «Сам уйдешь, — грит, — или вынести?» Я сразу вспомнил участкового, а он в центральной усадьбе, да и там-то не всегда застаешь. Высокий ко мне, а я пятками, бочком — шмырк. Что они искали, не знаю. Спросил я после-то, на другой день Феклу, нет ли, мол, пропажи, намекнул. А она: «Я сама гол как сокол. У меня и брать нечего. А чево? Был кто?» А я ей: «Да это так, ходили тут какие-то...» Теперь запираемся на два замка: и уличную дверь, и со двора. А спать ложусь — топор имею в виду, так и держу возле порога...

Антон и верил, и не верил отцу: выпил, несет что попало, фантазирует. Засмеялся:

— Ну, батя, разговорился... Прямо это, страшно стало... Чечены, что ли, завелись?

Нюра, похватав горячих щей с сухарями наскоро, не слушала болтовню, но, как только Серафим начал говорить про воров, навострила уши.

— Чево-чево? — спросила.

— А ничего, проехали. — Серафим выплюнул окурочек себе под ноги, сплюнул между колен.

— А что же ты мне не сказал?

— Тебе знать не надо, разболтаешь. А мне языком расплачиваться. Молчок. Глядишь — гляди, сопи в две дырки и помалкивай...

В горнице густо пахло маринованным укропом, жирной бараниной и сложным кисло-затхлым духом, свойственным лежалому хлебу и старым размоченным сухарям. В глиняной большой чашке сухари плавали плотной шубой. Ела сухари только Нюра, с отвращением, — жаль отдавать такое добро свинье или курам.

Наевшись, Антон сидел у окна на лавке. Небо расчистилось и сплошь ярко голубело. Он растворил окно настезь, закурил, любуясь свежей травой, блеском травы в палисаднике. Из беспорядочных разговоров отца и матери он когда-то впервые услышал слово «бесперспективная». «Ольховка давно бесперспективная», — говорили отец и мать.

До службы Антона не волновало это слово, оно как-то затерлось в памяти. Теперь вспомнил, как нагретыми руками писались статьи про хутора, деревеньки, а в клубе после киносеанса «Унесенные ветром», на который можно было попасть за горсть орехов, — после сеанса киномеханик ругался с управляющим. «Я сюда больше не приеду, — хрипел киномеханик. — Выручка с гулькин нос, а я с выручки премию получаю!» — «Ты на меня не хрипи! — тоже кричал управляющий на киномеханика. — Молод на меня хрипеть. Тут тоже люди работают от зари до зари, хотят отдохнуть по-человечески, кино...» Антон как-то живо вспомнил этот скандал.

— А видео у нас в клубе осталось? — спросил он мать.

— Какое видео, — отвечала мать, всплеснув руками, — хлеба не везут! Да и кому тут смотреть-то? Такая яма: ни радио, ни телефона, мхом все обрастает. Бежать бы отсюда без оглядки, вся молодежь разбежалась. И невеста твоя, Любаша, укатила с родителями. Она, верно, писала тебе из Рязани?

— Писала, — ответил Антон. — ПТУ заканчивает...

— Да и нам пора уезжать. Я вот все отца понужаю, агитирую ехать. Он, сам знаешь, на подъем тяжелый, как камень.

Отец поднял голову, глянул на мать долгим косым взглядом. И, бросая иголку на пол, откинул зашитый сапог в сторону, проговорил:

— Опять двадцать пять! Ты глянть-ка на нее, глянть-ка, какая легкая, острая на язык! Языком молоть — не дрова колоть. Не шутка в деле. Все брось, а где же поднять? Опять же: тут скотина, птица, улы... Да и выгон хороший, такого и не было никогда. Собираемся же, думаем, чево еще?

— Чего нам собираться? — Нюра, расставив ноги, свесив не в меру худые и длинные руки, глядела на Серафима без злобы. — Нищему собраться — только подпоясаться. Прозвали тебя Нуждой — по делом...

— Да погоди-ка, погоди, — отмахнулся Серафим и кинулся к растворенному окну. — Чево? Чу-ка, Нюра! Чево, Петя?

В палисаднике перед окнами стоял Петя Дрова-Нога, инвалид с детства. Когда-то, еще молодым парнем, Петя пас коров. Было раннее росистое утро. Он снял тесную обувку, гонялся за стадом босиком, наколол ногу. Помочился на кровавую рану в пятке, сразу не пошел к врачу, думал, что пройдет так. А когда вечером пригнал стадо — хватились запрягать лошадь и везти Петю. И было уже поздно, как говорили тогда, «антонов огонь накинуся на ногу». Ногу отрезали до колена. Протезы тогда достать было трудно, он ходил на деревяшке. Прозвали его давным-давно Петей Дрова-Нога.

— На поскотину пора, — говорил Петя Серафиму. — Скотина изревелась...

— Ты зайди-ка, Петя, у меня сын демобилизовался, вернулся со службы.

— Потом, потом, некогда, — прогудел Петя и заковылял по палисаднику.

— Нюра, на работу зовут, собирайся, — крикнул Серафим из сенец.

— Иду, иду...

— Дела-делишки, — затворяя окно, сказал Серафим своей любимой поговоркой. — Весна подошла, радость кругом, светло. Так-то разобраться: что бы не жить в Ольховке? Если бы корма для скотины, хлеб, соль и прочее... Ан нет, все про все меняй, мясо, картошку, мед — все на хлеб, на муку. Только и отрады, что скоро пчелы загудят, зацветут вишни, яблони. Медок пойдет первый, самый что ни на есть целебный. А летом травы — не прокосишь. Косить разрешили, живности много у нас. Работай не ленись, прожить можно... Чего метаться-то? Чего там в городе, с неба манна? Как говорится, где вороне не летать — все одно дерьмо клевать. Однако надо обуваться. С нами пойдешь, Антон?

— Пойдем, помогу вам. — Антон нашел резиновые сапоги, оделся, ждал отца, стоя у порога.

— У нас теперь бригадный подряд, а бригада — излом да вывих. Старики, старухи, да вот еще Петя этот, Шлеп-Нога. Брига-ада...

Отец с сыном оделись, вышли на крыльцо, ожидая хозяйку, Серафим рассказывал сыну:

— А тут вот какая оказия со мной приключилась... — Серафим закашлял от дыма сигареты. — Оказия, скажу тебе, сынка, по секрету, без передачи кому-либо. В конце марта было дело. Иду я, знычит, из центральной усадьбы, в сельпе был. За спиной, в вещмешке — буханки хлеба, спички, соль, мыло — словом, всякая мелкота, нуждишка, одно слово, наша. Дорога была хорошая, к вечеру только крупной понесло. Сворачиваю с дороги к дому — глядь, костерок во дворе у Корякиных полыхает. Оне, сам знаешь, давно уехали, от дома и от подворья один прах остался, дотлевет; банёшка догнивает, крыша тесовая провалилась, подворье и сад чапыжником, дуrolомом поросли... Что такое? Подхожу. Трое мужиков, в городское обуты-одеты. Незнамые-незнакомые. Разозлился, сдерживаю себя. Один из них, смурной, щуплый и глаза навывкате, вертит проволоку. А на проволоке-то — поросенок ли, барашек ли — не разберешь... «Здорово, мужики!» — говорю им. А они все враз: «Здоровей видали, отец!» Я вмиг смекнул. «Э-э, — думаю себе, — эти ребята — оторви да брось. И голову могут оттяпать, и того, на рукобойник...» А я в сельпе хлебнул немножко, на дорогу, на посошок, с друзьями своими, с дедом Игнатом, он тут бывает иногда. Да ты слушай, слушай, Антон, что дальше-то

будет. Шел я их шугануть, а тут — нет, думаю, тут защиты нету. Голого сокола и галки дерут. Спрашиваю: откуда и куда путь держите, молодцы? Тот, что вертел на костре мясо, нахально вылупил на меня глаза: «Где были, нас там нет. И не скоро там будем. А идем в Медведовку, Богу помолиться, бабушке поклониться...» И все мать-перемать. И матерщина-то какая-то нездешняя, говорить — язык отсохнет. Смеются, пальцы растопырили, греются. Я только и сказал им: «Вижу, мол, какие вы богомольцы, раз огонь-то разводите во дворах, хоть и брошенных!» А широкомордый, с переломанным носом ко мне: «Ты, батя, не шуми. Мы люди деловые, на ноги скорые, на руки спорые. Погреемся, закусим — и айда, пошел. Тут вот шашлык готов, пора и закусить...» Самый старший из них, лет тридцати пяти, шикнул на своих, шагнул ко мне через костерок, взял за пельки и говорит на ухо: «Папаша, деньжонок подграбастать не хочешь?» Я и задумался: а кто же не хочет? Нуждишка, знамо дело... «А чего, — говорю, — надо-то?» — «Та-а, пустяки. Смердогону надо». — «А сколько?» — это я-то ему. А сам смекаю себе, голова бедовая. Голова работает, как трактор. «Видишь, ребята устали, издалека едем. И дело-то за небольшим: соль-вода есть, можно пельмени стряпать. Ха-ха... Мол, мясо готово, а ни хлеба, ни соли, ни выпивки». И опять я задумался: по нынешним временам с самогоном шутики плохи — монополия. Обдерут как липку, а эти — выпьют и под суд подведут... Мордастый вытащил из порток пачку красненьких, шлепнул их об ладонь. «За каждую поллитровку по косой схватишь. Ну как?» Шутка ли? За пузырь вонючки — сотку! «Нет, думаю себе, такого случая упускать нельзя...»

— Мужики! — крикнула Нюра с подворья. — Готовы ай нет?

— Готовы, готовы, — тоже громко ответил Серафим. — Готовы, тебя ждем... Слушай, Антон, что дальше-то было. Смотри, никому ни гугу... Да, тут я прикинул, смекнул: дома у меня было, а сколько — вспомнить не мог. За четверть — шестьсот рубликов. Ни тебе ни горбатиться, ни навоз не убирай. «Сколько надо?» — спросил. А он: «Сколько принесешь?» — «Две четверти, — говорю, — принесу, шесть литров». Они переглянулись, мол, не многовато ли... «Жаба, — говорит щуплый, — отдай за шесть, пусть тащит, с собой возьмем. Уйдет — из-под земли доставим». — «Ладно, отец, хлеба-соли захвати». Я — ходу, домой, и в подпол. Раскопал в картошке, достал гусыню, ну эту четверть старинную, хлеба буханку, сало тоже отрезал — словом, всё сложил в торбочку и лечу обратно к костерку. А уж совсем темно стало. Гляжу, и костерок доплывает у них. «Тебя, батя, только за смертью посылать, — говорит молодой, пучеглазый. — Жаба, возьми-ка у него сидорок-то, верни...» Жаба, как они его звали, схватил у меня

торбочку, выставил четверть. Все трое разом засмеялись. Крокодил, так звали старшего, вытащил нож, надавил кнопку — лезвие выскочило. «Гужуйся с нами, отец, — сказал Крокодил. — С нами не пропадешь...» Я сел с ними на бревно, кумекаю: «Хорошо, что деньги дома оставил, мужики шальные, озорные, похоже, идут с отсидки».

...Антон и слушал, и ждал мать. Хозяйка кормила кур, свинью. Молодые поросята-молочники подняли визг. Яркое солнце грело, мокрая земля парила на припеках. Серафим рассказывал, а Антон не верил своим ушам. Такого раньше не было...

— Теперь слушай, Антон, слушай, что дальше-то будет, а то скоро мать придет, я ей не рассказываю про такие дела. Сел я с ними, сижу на бревнышке, прилачился бочком, как сирота. Язык у меня зачесался, тихонько спросил Жабу: «Ты чей?» А он глаза белые на меня выпучил, засипел, как ежик: «Старой транды казначей!» Тут и Крокодил встрял: «Будешь спрашивать — вопросительный знак отрежем...» И порядки у них особые, не наши: цедят себе в граненый стакан из четверти, смеются и все по-блатному, с присвистом, по феням говорят: «ксивоту оторвал, лепень куплю, колеса» какие-то... Копченый, верткий такой, деловой, все заботится, мясо ломками, хлеб раскладывает на газету. Мясо молодое, запах вкусный да с лучком. Выжрали они по стакану, зажевывают. Тут на меня Коля Жаба сипит: «Ты чево сидишь, отец? Наливай и пей!» А я ему: «Чужое не пью». — «Э, батя, да ты, видать, нигде не бывал. Ну, ничего, побываешь. Кто не был, тот будет, а кто был — не забудет... Вали, пей» — это все Жаба так толковал. А Крокодил, не прожевав кусок мяса, налил еще полный и говорит: «Пей, отец, все наше — и тюрьма, и параша. Пей, крестьянин, мужик... мать-незамать, отца не трогать...» На тарабарском говорили долго, надоело слушать. Хотел идти, ждал, когда четверть опростают. Старинная четверть, ловко из нее самогон наливать: буль-буль, капельки не проливаешь...

Антон хохотал до слез. Вытирая слезы от смеха, расстегивая на телогрейке пуговицы, спросил:

— Сколько же у них осталось?

— Почти половина, литра полтора. Да и мясо мне понравилось, прямо вкуснятина такая. Ну, про мясо сейчас и толкую. Сунули они мне кусок, сижу, жую, мосольчики обсасываю. А они что-то все на меня поглядывают, по феням толкуют. Глядь, заторопились. Еще наливают на дорожку. А я выпимши-то выпимши, а кумекаю: схлестнулся... деньгам не рад будешь. Еще по стакану выжрут — башку отрежут и увезут. Черт с ней, думаю, с четвертью. «Пойду я, — говорю им. А уж и совсем темно стало, костерок взметнулся, Копченый подсунул в огонек соломы. Да ты слушай, сынок, чево ты все смеешься-то, слушай, а то осерчаю. Глядь, еще понемногу дернули, в

четверти с литр осталось. Самый маленький и проворный запел себе под нос:

Голодный бич смелее волка,
А сытый бич смиренней овцы.
И не дождавшись в кадрах толку,
Голодный бич отдал концы...

Встал с бревна, чую — тяжеловато. Крокодил надавил мне на плечо, осадил меня. «Жаба, — говорит, — плесни ему еще, не жалея, хороший человек, хороший крестьянин. Хороший человек — редкость в наше время, угощай его. Может, еще зайдем, мир тесен...» И запел жалостливо, плакать мне тогда захотелось...

Выйдешь за ворота,
Тряхнешь сединою,
И с презрением оглянешься на зону...

Да уж, полюбовался я на этих молодцев-соколиков, врагу не пожелаю. Стал казнить себя втихаря за жадность. А жадность, она фраера губит. Да и не я виноват. Меня ведь Нуждой прозвали за что? Вечно чего-нибудь нету. «Ну, прощевай, Серафим благочинный, пропили тулуп овчинный...» — «Вы бы мне четверть-то вернули, посуда нужна». — «Перебьешься! Нам она нужней. Там осталось для сугреву. Дорога дальняя, а ночка черная, и одежонка на рыбьем меху... Как мясо? Вкусное?» — «Вкусное, давно свежинки не ел. Весной какой дурак баранчика режет?»... Копченый собирал остатки еды, кидал под старую яблоню, в бурьян, кости. «Тут по вашей глухомани, — засмеялся он, оскалился, — этой свежинки полным-полно. Пойдем-ка, я тебе покажу, шкуру заберешь, шапку сварганишь, отмеждришь, очистишь и сошьешь». Повел он меня за баню, показал на отрезанную голову клыкастую, собачью. Я так и обомлел. На голых сучьях висели сизые грязные кишки, на снегу — кровь. Меня затрясло, заколотило. И так чистило — кишки к горлу подступали. И жалко было — растил кобеля, холил, стадо беречь. Пока я рыгал, заедал снегом, бичи ушли. Да и чего бы я им сделал? Ох, и жалел я тогда, да и теперь, что схлестнулся с ними. А кобеля жалко, хороший, смысленный был кобелек.

Мать загремела шеколдой, вышла на крыльцо. Антон сдерживал смех, хватал ладонью по губам.

— Пора, пора, мужики... Петя теперь уже там пластается, старухи навоз возят, а мы никак не соберемся. Ты чево, Антон?.. — И, взглянув на Серафима, заругалась: — Вот как выпьет — дурак дураком...

— Мы не про тебя, — Серафим подтянул голенища высоких резиновых сапог, — это мы про свои дела толкуем, про собаку.

— Какую собаку?

— Да про кобеля, который запропастился.

Волчихины шли единственной ольховской улицей, справа и слева стояли высокие тополя. Еще осенью трактора вдрызг разбили дорогу. По улице — ни проехать, ни пройти. В глубоких колеях стояла желтая вода, морщилась от ветра и блестела на солнце.

С ловкостью десантника Антон перепрыгивал колеи, мать и отец обходили лужи; шли тропинкой возле уцелевших частоколов, повалившихся плетней. Антон то и дело останавливался напротив пепелищ, спрашивал отца, отчего сгорели; а то минутами стоял у палисадников с растасканным на дрова частоколом. Там и сям зияли дыры в железных крышах, косили сгнившими углами сараи, почти все стекла в брошенных домах были неровно выбиты, как будто в них стреляли из рогаток. У стариков и старух покосились и залегли серые ворота; Антону так и хотелось подойти и подпереть их плечом. Задичали вишни, сливы, яблони, почки уже лопнули, рождались ранние листья. И радостно, и грустно было Антону. Радовался он весеннему яркому солнцу, молодой новозеленой траве, уже кое-где плотно, опушкой, расстилавшейся на угорчиках; вспомнилось раннее детство, когда лазали на яблони, в кровь изодрав руки, на клочки изорвав рубахи... По улице с весны до осени ходили босиком, ноги кровоточили цыпками, а по вечерам мать отпаривала в тазу грязь с ног, смазывала вазелином эти самые струпья и цыпки. И было другое, грустное чувство, вызванное этими пепелищами: как Мамай прошел! Страшное запустение в огородах и садах, и эти дички, хотя и зацветут, толку от них мало, изобьет их пустоцвет, зарастут сады муравой... Почерневшие прошлогодние ракитники, густая полынь да чернобыл, битые кирпичи, слетевшие с крыш, подступали к тропе, как знак неотвратимой беды.

— Когда же сгорели Осоедовы? — Антон приноравливал свои шаги к родительским.

— Прошлым летом, в августе, — ответил Серафим сыну. — Жарища была страшное дело. Ветер дул сильный и сухой. Запыхал осоедовский дом — пламя перекинулось на Слюиных. Страсть была такая, думал, вся Ольховка сгорит дотла. За какие-то полчаса два дома — как корова языком слизала...

— А пожарники? У нас же в центральной усадьбе пожарная машина, — удивился Антон, шагая бок о бок между матерью и отцом.

— Чево там, — Серафим махнул руками, — чево там, пожарная. Набрали в колодце воду, стали лить — шланги худые, забили струйками. Туда-сюда, а уж и крыши сгорели. Да и дома-то пустые. Кинулись бабу твою отстаивать. Кое-как отстояли. Я сам на крыше стоял, водой из ведра поливал. Тополя возле окон помогли малость, искры не дали заронить, загороди-